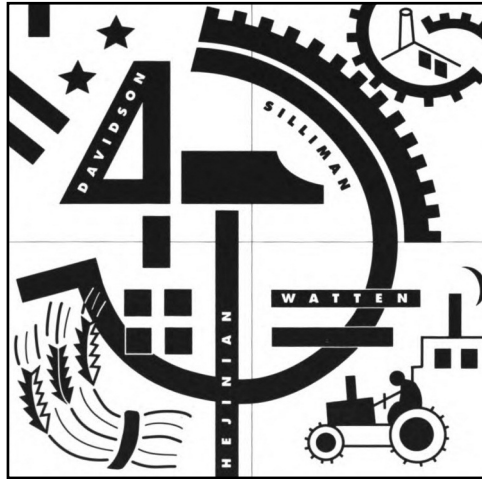


Майкл Дэвидсон, Лин Хеджинян,
Рон Силлиман, Барретт Уоттен

Из книги «Ленинград»¹



Авторы «Ленинграда» стремились укоренить литературное движение, известное как «языковая поэзия», в чувстве сообщества и увязать его с прогрессивной политикой и новыми социальными теориями. Эта задача нашла отражение в том, как их четыре голоса переплетаются в тексте, создавая коллективно написанные эссе. Единственная метка авторства, по которой можно опознать одного из четырех поэтов, — визуальный значок, своего рода шифр и одновременно формальный элемент этого текста в его поэтическом измерении.

Представляющие писателей значки подсказаны текстильными орнаментами, спроектированными в Ленинграде в 1920—1930 годы. Промышленный дизайн в эту пору считался по-настоящему творческим средством, как нельзя лучше соответствующим идеалам нового пролетарского общества.

Четыре значка складываются в кольцевую фигуру, основывающуюся на орнаменте «Пятилетка в четыре года». В названиях и образах многих орнаментов тех лет отразилась потребность в новом стиле для советской жизни и для динамических ритмов и красоты индустриальных процессов. Это искусство играло важную роль в социалистической идеологии России в пореволюционные годы.

1 Перевод выполнен по изданию: Davidson M., Hejirian L., Silliman R., Watten B. *Lenin-grad: American Writers in the Soviet Union*. San Francisco: Mercury House, 1991. Топонимические и другие неточности (или намеренные сдвиги) оставлены без исправлений.

Часть I

Не могу больше, — подумал Барли. — Где мне тягаться с этими измерениями.

Джон ле Карре. «Русский дом»



Бульвар надрезает город прямо по центру, начинаясь еще среди возделанных полей и огородов у аэропорта и доходя до застройки восемнадцатого века вблизи реки. В город въезжаешь в обратной хронологии, от пригородного настоящего движешься к городскому прошлому, от безымянных современных квартир — к цветастым дворцам рококо. На самом краю города бульвар вливается в громадную развязку, посередине которой стоит мемориал блокаде Ленинграда. Гигантские изваяния солдат и горожан устали в загород, где три года кряду, не в силах прорвать оборону, стояли бивуаком немцы. Через дорогу от памятника высится огромное государственное строение сталинской эры. Его масса складывается не столько даже из высоты или ширины, сколько из повтора — наштапованный эмблемами фасад. Ту же массивность (с куда бóльшим, правда, разнообразием поверхности) можно наблюдать на Дворцовой площади, стянутой полукольцами — Зимнего по одну сторону и здания Главного штаба по другую — и проткнутой по центру Александровской колонной — 704 тоннами гранита, увековечившими победы русских над Наполеоном. Это пространство предназначено для зрелищ, для снований толп, для перемены облаков над головой. Переходя залитую крапчатым светом площадь, отдельно взятый человек уже не просто человек.



Человек этот потом еще мелькнет, пусть томно — он слыл почтенным и непреклонным математиком, но казалось, что задача оставаться человеком его порядком измотала, отсадила куда-то вдаль шептаться с Розой, но в то же время каким-то образом он уже стоял и там, на тихой улочке, где прохладилась за сплетнями стайка интеллектуалов, — сутулый из-за небольшого роста, согласный на папиросу — как тему для беседы, чем-то озабоченный — за сколько-то месяцев до того мне рассказали, что мало кто среди русской публики поймет западное понятие субъективности — которое он уговорился переводить. «Я знаю, что на русский нельзя передать “self”, кроме как через страдательный суффикс либо возвратное местоимение», — сказала я, но он пожал плечами, и больше из него на этот счет ничего было не вытянуть. Русским человеком тебя явно делает не субъективность. Нашу же независимую самостоятельную отдельность едва ли выразишь в словах, но, добавил Аркадий, «многие были бы не прочь». «Знаешь, — ответила я, — а у нас многие были бы не прочь ее преодолеть. Есть мнение, что если нам удастся превзойти или упразднить индивидуальное “self”, то родится настоящая общность». Эти представления до какой-то степени укоренены у нас в протестантском прошлом, а у русских, и даже у советских, людей — в православии. Протестант предстает перед Богом один-одинешенек. «Протестанты, — продолжил Аркадий, — ходят в храм, чтобы отправить Богу письмо, кирха — то же почтовое отделение. Православная церковь — не само здание, оно не столь символично —

считается истинным телом Бога, и православные сами тоже суть Бог, потому что в церкви они существуют соборно, не сами по себе, а речь, кстати говоря, тут ни при чем». Вот она наша великая, современная, неизбежная, но и не универсальная тема изоляции и отчуждения. «Да, пожалуй, так и есть. Вы страшитесь собственной конечности, а мы — бесконечности».



Старуху зазывали в комнату племянницы откуда-то из потемок квартиры так, как выманивал бы из глубины пещеры не расположенного к тому чародея какой-нибудь эльфийский народец: хохотливый, гудящий рой смолк, стоило ей войти, приподнялись головы, отставились в сторону бокалы, все повернулись в ее сторону, и наконец затихло все, кроме (как будто это и был ее голос) шума заливающего двор дождя. Даже в садах парка Гоголя основной темой был камыш. По Невскому проспекту не прогуливались, а толклись. Наш самолет сделал посадку в Москве, чтобы подобрать Оззи Осборна с «Мотли крю». Набрал в ванну воды помыться — темная, что твой чай. Она когда-то танцевала в Кировском. Затянешься папиросой — и, как по мановению руки, тянет сощуриться в чаду: вся комната синее от токсинов. В мгновенье ока, без предупреждения, перемена в графике. «Братец» Надежды выругался. По вечерам из подвалов вылетало комарье. Даже человек здесь на ремонт'е. Муж у тебя «в больнице» с инфарктом, что ждет его, неизвестно, а к тебе в комнату нагрянули в гости четырнадцать интеллектуалов четырех национальностей, но кто сказал, что ты с ума не сходишь от волнения. Барретт научил Жданова, как наводит резкость на фотоаппарате, и мы все сгрудились в углу, шурясь на солнце. Этот мост я в каком-то кино видел, он весь был в мертвецах. С воздуха в бескрайних полосах земли отчетливо бежала геометрия сельскохозяйственного плана. Город без пригорода. Ресторан-то открыт — еды нет. «Сынок, сынок, — завела Зина, чуть прихватив каждого из сволочей-фашистов под локоток, — разве так у нас гостей привечают?» По ложке малинового варенья на чашку чая, чтоб послаще. Мы ринулись оттуда обратно в тот же дождь.



Будучи поэтами, сложно отделаться от ощущения, что мы можем внести отчетливость в поверхность любого переживания, но этому всемогуществу приходится учиться. Во вступительных словах участников нашей международной летней школы языка, сознания и общества увещевали не отклоняться от научности; нам также были выражены пожелания «здоровья, долголетия и извинения за строительные работы на дорогах». Предчувствия Аркадия оказались вполне актуальны: «Язык есть мир в себе, понимание которого, признаться, представляет для нас немалые трудности. Таким образом, поэтическая деятельность направлена на внешний мир». Русский культ просодии исходит из определенности его объекта, понимание которого представляет для нас немалую трудность; эта определенность расходится сразу в нескольких направлениях: тут и собирательный героизм, и устойчивое основание для умозрений. Для Сурена Золяна, выступавшего с первым докладом, «поэтическая речь имеет модальный характер»: одно-единственное изменение в ее объектной парадигме уже ни много ни мало перемена всего нашего мировоззрения. «Наша теория возможных миров нуждается в строгом определении “необходимости”». Трудно себе представить, чем окажется такая необходимость для

тех, кто дальше ушел от материализма, чем даже мы (с какой готовностью поставляет свои материалистические объяснения Дэн Разер, а мы их принимаем, как будто нас этой статистикой шантажируют); может, для них необходимость стихотворения уже заместила собой материализацию, от которой одна му́ка. Но все равно даже для русских стихотворение остается своего рода *объектом* — понятием, несколько не похожим на обильные и театральные представления на тему интенсивности и утраты, которые мы наблюдали в спонтанной манере его подачи. Единство двух смежных с поэтическим проектов — назовем их научным и культурным — сводится к своего рода мифу об объекте, чей авторитет в конечном счете упирается в его трансцендентную неотъемлемость. Мы же были лишь участниками в социальном акте разыгрывания этой трансцендентности, когда в любой отдельно взятый момент времени что-то между пятьюдесятью и двумястами людьми превращались в ее коллективное тело.



Поскольку мы храним в себе образы настоящего, прошлое принимает облик отдельно взятого переживания. Это дает нам ощущение всемогущества, хотя уже через мгновение после щелчка фотоаппарата смысл событий успел перемениться.

Статуя изображает Ленина, устроившегося на небольшом броневике, воздевшего палец к небу и вззирающего вдаль, в народ. На переднем плане скамейка завалена цветами, которые там оставляют пары в день свадьбы. Цветочные приношения служат зримым подтверждением тому, что, сочетая себя браком с другим, мы повторяем еще и общественный обет. Отчетливой можно сделать поверхность лишь отдельно взятого переживания, из-за чего и искажается наше понимание стихов, которые слагает сообщество, стремящееся не превратиться в объект. Так рождается своего рода миф о «субъекте» с его иконическим жестом, цветы же свидетельствуют о верованиях, которые может разделить одна-единственная двоица.

Я оторвался от остальных и поехал обратно в гостиницу на автобусе. Выйдя у Финляндского вокзала, пошел пройтись к реке. Было приятно удостовериться, что разобрался в транспортной системе и, случись что, один не пропаду. Тут-то мне и попала на глаза статуя, и я остановился ее сфотографировать.



Вечерние поэтические чтения в конце концов пришлось перенести из-за скопления народа в большой зал, где днем проходила конференция, но начались они в комнате, когда-то, должно быть, служившей гостиной в больших помещениях, выходящих на улицу Герцена, которые от нее отделял всего пролет, а от окон набоковской спальни — какие-нибудь десять футов, но об этом ничто не говорило. Тяжелые, в пол портъеры в повыцветших розах были спущены, не пропуская ни намека на держащийся до поздней ночи дневной свет, на тень дерева, на запах грязи, идущий из канав в перерытом тротуаре, на шум дождя. Стихи читали Иван Жданов, Надежда Кондакова и Вячеслав Иванов (не поэт-символист, а великий лингвист и народный депутат); они читали, не притрагиваясь к страницам, — читали стихи наизусть, сказали бы мы, но было такое впечатление, как будто стихи не шли изнутри поэта, а скорее лежали где-то во вне, музыкальными в своей материальности формами, ямбическими, ассонансными, которые будто только сейчас попались поэтам на глаза. Потом вышел Аркадий Драгомощенко, подвинул к себе столик и уселся читать по бумажке:

поскольку будущее захлопывает свою дверь,
представая привычно разуму либо ветошью,
оправленной стронциановым льдом,
либо доопытным камнем в доброцветении форм, —

такое, например, или:

Если это пишется, я не тот, кто —

после чего один из молодых поэтов Сибири кинулся разъяснять Аркадию, что то, что он прочел, — не стихи. Прогуливаясь потом по набережной Невы в виду броненосца «Аврора» на той стороне, Алексей Парщиков согласился с этим: «А почему бы и нет?» Для русского человека поэзия — что-то само собой разумеющееся. «Все ищут трансценденции, а у нас для того вот уже семьдесят два года, как вместо религии — поэзия, — добавил Сергей Тимофеев. — Взяться было возвращать себе религию, что же теперь с поэзией будет?..» «У нас все эти годы, — поделился со мной Парщиков, — любимая хохма была ходить смотреть на статую Ленина, где он у Финляндского вокзала стоит такой. Видишь, куда пальцем-то кажет? Аккурат на здание КГБ».



В новой среде всегда кажется, что все предметы не на своих местах, — подразумевает, во-первых, предметы, а за ними и свои места. Не говоря ни слова, водитель черной «Волги» то загонял свой седанчик на островок безопасности, то выруливал на проезжую, отчего пешеходы разлетались врассыпную перепуганными голубями. Целая армия, которой нечем заняться, некуда себя деть. На седьмом этаже гостиницы «Ленинград» живешь как на весу над городом. В день пятый вижу первого человека, кто бы занимался бегом трусцой. Ребенок в лифте делает нам предложение. Женщина зачитывает мне слово в слово мою же телеграмму. Вдруг, прямо перед старыми голландцами, меня окружила экскурсионная группа торговцев напольными покрытиями из Северной Калифорнии — в жизни не слышал ничего инопланетней их шумного американского стрекота. Я слопал целую креманку мороженого, по крайней мере, надеюсь, это было мороженое. В галерее висело полотно с изображением бейсбольного матча: поле — черного цвета, словно из асфальта. Человек поднимает бокал за здоровье присутствующих незнакомцев. На открытии конференции Аркадий упоминает мой отзыв на поход в цирк, «одни клоуны да звери», в качестве эталона для начинающегося мероприятия. Виктор Мазин показывает на какое-то место у меня в тексте: «А что вы имеете в виду вот тут: “Manson Family”, — это что, какой-то телесериал?» Река эта потом снова мелькнет, пусть томно.



Наделена ли поэзия знанием и если да, то каким? На Западе временами складывается такое ощущение, что лакуна на месте поэтического как бы сама объект культа, необходимый для замеров в области неизвестного. Знание чего угодно — или, что важнее, незнание чего угодно, что относится к поэзии, помещает нас в пространство более масштабных вопросов о возможности мироздания, и не исключено, что многие, кто проходит через поэ-

зию, но в ней не задерживается, имеют на то свои причины. На старте успешной карьеры дельца, к примеру, поэтическое — в лучшем случае упражнение на отрицаемую языковую модальность. Да и с чего бы нам знать, не видят ли сами русские свою стиховую практику как-то иначе? Если поэтическое порождает новые смыслы, что за смыслы обуславливают сам этот процесс? Для одного поэта «поэтическое выражение есть перерождение контекста» — при условии, что он вообще когда-либо имелся; это *через* поэтическое он перерождается. А потом кто-то сказал: «Судьба — что слепой верблюд, который на части разнесет попавшегося на пути». У Осипа Мандельштама есть цитата: «То, что я сейчас говорю, говорю не я», — оно само говорит *через* него. Для другого поэта «некоторые формальные характеристики можно как будто напрямую вывести из наших душевных состояний». Какие-то из этих параметров могли бы совпасть с «древнерусскими фразеологизмами», что пригнало бы всех русских Нового времени вплотную друг к другу словно бы изнутри. Еще один желает «пройти насквозь через грамматику, чтобы достичь других уровней языка», и представляет себе, что «у каждого человека свои языковые правила». «Искусству футуристов, тем самым, соответствовала своя собственная доминанта в сознании». Дивлюсь на эту форму верования. Существуют, оказывается, те, для кого «всякая мысль есть род процесса, напоминающего свет», или те, кто способен вообразить себе эти слова настолько, чтобы их изречь. «За пределами социализма можно было бы найти новую форму технической реальности, совпадающей с языком», — говорит еще один. «Попробую описать этот процесс с точки зрения лингвистического узуса». Но для нас все больше и больше получается так, что поэтическое можно познать исключительно как историю такового. Сначала оно само нас сместило, уже потом мы принялись размышлять почему. Тогда-то к нам пришло знание.

Как бы то ни было, Петербург не только нам кажется, но и оказывается — на картах: в виде двух друг в друге сидящих кружков с черной точкой в центре; и из этой вот математической точки, не имеющей измерения, заявляет он энергично о том, что он — есть: оттуда, из этой вот точки, несется потоком рой отпечатанной книги; несется из этой невидимой точки стремительно циркуляр.

Андрей Белый. «Петербург»



Хотя отсюда, на расстоянии, он кажется уже не столько местом, сколько чередой разговоров. И немало всего происходит на протяжении последовавших за тем месяцев, отчего значение того места переменяется.

На визитке стоит: «Дмитрий Пригов, поэт, художник», — и его адрес латиницей, словно бы на экспорт для западного читателя. Он вручает ее мне на улице Герцена, перед Домом композиторов, где и назначена наша встреча. Улица перерыта для работ по починке то ли канализации, то ли водоснабжения, и эти обломки земли — метафора, неплохо передающая происходящее на этой неделе. Она же приложима и к уровню производства (вернее, отсутствию такового), который наблюдается повсе-

местно: немощные улицы, полупустующие строения, замершие работы по реконструкции, оголенные провода, затопленные подвалы. Инфраструктура-то устарела, а наделенная полномочиями по ее починке бюрократия и подавно. Визитка эта лишь толика того замысловатого потлача книг, клочков бумаги, адресов и презентов, которыми мы обмениваемся всю неделю. Они служат знаками общности — для зачастую совершенно не знакомых друг другу людей. Пресса предпочитает рассматривать этот период как очередную «оттепель» и перестраховывается на случай неизбежного ретраншементы. Наше участие в этой перемене погоды (сегодня, вообще говоря, довольно тепло, даже жарко) сводится к простому присутствию на этой улице, к боязливым шагам через траншеи и рытвины, которыми усыпана дорога к Дому композиторов. Перед тем как войти в здание, Пригов передает мне небольшую пачку бумаг, сшитую степлером со всех сторон, — внутри, говорит он, обрывки его стихов, нарезанные в конфетти.



Если стихотворение — это хранилище знаний, то формой стихов должна бы быть голова. Но Пригов называет свои нарезанные в конфетти и сшитые в пачку стихи «гробиками» — раньше это могло быть смешно, сейчас скорее иронично. Вопрос в том, кто, собственно, нарезал эти стихи, и это уже вопрос контекста. Если это сделало государство, то культурный контекст таков, что поэзия — это вызов, в ней представлена противоречащая основной картина власти. Если это сделал народ, то культурный контекст превратил стихи в сор. «Тебя послушать, так вы прямо ностальгируете по годам бывшего угнетения», — сказала я Виктору Лапицкому, не имея, впрочем, ничего такого в виду. «Может и так. Почему бы и нет?» — ответил он. «Тогда у всего был свой большой смысл. Сейчас уже никакого смысла не осталось. Вот, видишь, мы и оказались в постмодерне, в считанные месяцы», — без какого бы то ни было перехода. Перед тем я разошлась во мнениях с синологом, Владимиром Малявиным, — а может, просто не поняла его, — когда он заявил, что постмодернизм актуализирует в нас образ мироздания в духе восточной традиции, т. е. *осознанно*, в обход давней традиции европейской, допускавшей существование мира лишь *бессознательно*. Но у меня голова шла кругом при попытке представить себе контекст значения, а следовательно, и знания (а я убеждена, что поэзия является частью процессов познания) — меня окружали те, кто принадлежал и к Востоку, и к Западу одновременно, не испытывая необходимости разрешать противоречия или пересекать границы, по крайней мере в том, как я это вижу. Та данность, что по традиции предстает стихотворением, здесь воплощается на уровне формы, а не содержания. Стихи — вы плетание воздуха, а не предметов. Интересно, какого же мира желает себе Россия постмодерна.



Память надрезает грудь прямо по центру. Наделена ли поэзия знанием и если да, то каким? В первый раз я заметил тебя, когда ты говорила в подвале с Приговым и Кутиком, шурясь при каждой затяжке «Опалом». Потом, в Кастро-Валли, по радио в машине: Кодреску запинается по родному городу, с магнитофоном в руках. В Баку фамилия «Хеджинян» была бы сопряжена с некоторым риском. Пылают, лучатся в «Сейфее» овощи под распы-

ленной дымкой и ламповым светом. Во Франкфурте прямо в аэропорту можно наведаться в пассаж с порнотоварами — большая резиновая кукла в черном белье. Ночью подвал гостиницы «Ленинград» превращается в дискотеку. На тротуарах урны ни к чему — кому тут и в голову-то придет что-то выкидывать? То, что увидел Мандельштам, написано на лбу у Ханны. Возвести дискурс между stol'ом и stul'ом. Чем не события, изложенные в повести Д.М. Томаса? Помню краски, пастель, переходящую в серое, серее прочего небо. Служба велась на хорватском. Мы совершили марш-бросок вверх по лестнице, потом вниз, потом передумали и припустили назад пуще прежнего, потом опять передумали, пока не пришлось в итоге ждать битый час следующей электрички до аэропорта, откуда — в гостиницу, на такси. На ленту транспортера выехала голова Ленина. Изначально на этой улице проживали царские банкиры и ювелиры. Весь мой талант к тому, чтоб давать чувству имя, не поможет с ответом. Сборные деревянные ящики, уложенные на краю парка в уровень третьего этажа, где будут проживать рабочие, которые «починят» гостиницу. На вид итальянец, звать Джамалем. «Я из детей победы», — смеется Аркадий; ведь и я тоже. Тарн говорит, что сама мысль о сообществе в поэзии смехотворна. Багаж без знаний не сыщешь. У Майкла на фотографии на голове Маяковского сидит только один голубь, тогда как на моей (сделанной на какую-нибудь секунду позже) — уже два. Аркадий сажает нас с Лин в первый автомобиль: водитель — частное лицо, имеющее собственную колымагу, у которой по всему лобовому стеклу струится паутина трещин, — а сам едет за нами с Барреттом и Майклом. Планировка у гостиницы более чем элементарная: по коридору на этаж. (Именно тут, в одной из закусокных по краям лестничной клетки, был мой первый завтрак, кусок хлеба, такой, что зубы сломаешь, и ржавеющая минералка, — пока Миша звонил по телефону и выяснял, что жена-то уже родила.) Бильярдные шары размером с человека. Мое имя произносится «Роун». Заказ телефонного разговора все равно что игра в рулетку: всё против тебя. Через Ленинградский вокзал на поезде не проехать — дальше поезд, что называется, не идет. В набоковском доме ни души. «Это последний помидор на ближайшие дни десять», — сказала она в тот момент, когда мы, нимало о том не ведая, устремились к целому морю помидоров.



Для начала, своеобразие человека, отозвавшегося на выступление Михаила Дзюбенко: «Вы связываете информацию с языком, но это не так». Дзюбенко согласился: «Да, связка языка с информацией как будто его редуцирует; редуцируются глубинные слои языка. Под информацией можно понимать либо ее дискретную форму — ряд знаков на дисплее, — либо постоянный процесс — непрекращающийся процесс осмысления информации, как не прекращается ведь и внутренняя речь». Основывая свои аналогии на лингвоархеологических фигурах того, что Спивак описывает в качестве культурных доминант сознания, Дзюбенко обнаруживает, что язык теперь действует в рамках законов экономики. С тем же успехом можно было бы проникнуть в толщу языковых слоев, спуститься на сотню лет по вертикали или сместиться по горизонтали в информационное общество (общепринятый взгляд на то, что сейчас происходит с американцами). Разность фаз этого процесса от одного социального континуума к другому и обеспечила бы, как я это понимаю, осмысленность нашей критики на конференции, обозначенной как

«Язык, сознание и общество». Временами казалось, что полемика увязает в собственных характеристиках, такой островок во времени, оторвавшийся от существующего с ним по соседству мира на улице. Это ведь тоже могло бы стать частью критики. «Всякая информация есть апроприация», по Дзюбенко, но, пытаясь это осмыслить, человек и «переходит в обладание принадлежащим ему языком», как пишет Маркс. Тогда упразднение частной собственности и стало бы нашей апроприацией чувства языка, созданного человеком когда-то и с тех пор ему принадлежащего? Полагаю, русские унаследовали это представление о публичном — в какой именно форме? — от методологии государства. Тем самым, поскольку самый их метод проистекает «извне», язык всегда вынужденно ощущается нестабильным — «Язык будто некий гармонический комплекс, в котором отражается всякое наличествующее в мире движение». Наша же форма государственности превращает язык в место противоречия, к которому мы возвращаемся посредством собственных методов; для нас язык предстает чем-то, что еще только предстоит *выстроить*. Отсюда и овевающие нашу поэзию бесплодные попытки иронической трансцендентности, в которых отражается социальное пространство, состоящее из ряда навязанных нам иронических норм. Но согласно следующему выступавшему, «Закон сидит внутри яблока, а мишенью — Ньютонова голова». Своеобразие человека, ответившего: «Ваш метод ужасен. Вы хотите поместить материальную интенцию внутрь автора, тогда как значение имеет читатель». Позже он выступил в защиту описанного в моем докладе изъятия художественной интенции из смысла в кубах Тони Смита — сама возможность какого-либо изъятия означала для него что?



Из-за спины шел Катин шепот — она переводила лекцию слово в слово. Было непросто представить себе контекст, в котором могли быть произнесены слова, настолько оторванные от синтаксиса, так что порой я отключался и следил уже только за модуляциями голоса докладчика или угадывал смысл сказанного по реакции публики. Когда они смеялись, смеялся и я. Барретт сидел и ожесточенно конспектировал, так что я не переживал, что не пойму всего, — потом прочту у него, что не понял сейчас.

Потом кто-то обратился к вопросу о постмодернизме на Западе. Дескать, полемика эта в общем и целом рассчитывает на высокий уровень технологической экспертизы — доступ к компьютерам, программному обеспечению, телевизорам и средствам телекоммуникации. Поэтому вся романтика компьютерных хакеров, чьи атаки на международные или оборонные сети суть форма подрывной деятельности, для какой-нибудь Польши вообще не актуальна.

Временами я снова включался в смысл говоримого Катей и записывал что-нибудь в блокнот, словно бы в подражание определенной доле прилежности, наблюдаемой в поведении коллег. Я пишу — следовательно, я понимаю. Я пишу: «В Доме композиторов такая духота, что никаких сил нет. Хоть бы окно открыли. Кто из лысых композиторов в соседнем зале — Прокофьев? Не от вчерашнего ли ужина стало плохо Лин, и если он тому виной, то не тошнит ли и меня? Что у них такое по трубам течет, что потом зубы чернеют?»

В предупреждении польский интеллигент заявляет, что он тут по теоретической части, а насчет политики — это к его приятелю. Я тот доклад пропустил, но формулировку мне потом передали дословно, заверив, что так все и

было. Знание, которым поэзия «наделена», следует измерять в переводе на доступную в это время систему передачи данных, учитывая и вопрос о том, что за время мы имеем в виду и в чем измеряется оно само. Наверняка конференция затрагивает и другие вопросы за рамками охваченных кавычками «языка, сознания, общества», но запомнятся ли они?



Не в еде было дело и не в неврастении. Правы были французы, сказав, что на конференции больше было диалога между русскими и американцами, нежели чего-то более интернационального, но нельзя сказать, чтобы наши непосредственные переживания «языка», «общества» и «сознания» сделались от этого сколько-нибудь менее неустойчивыми. Чтобы навести пути сообщения между тем, что переживает русский и американец, надо преодолеть бескрайние поля головокружительного мерцания. К шестому дню у меня уже развилось нервное истощение и морская болезнь, столько было мерцания — и столько распада я в себя вобрала. Днем мне приснилось, что я остановилась в каком-то пансионате под Ленинградом, где постояльцам встречаются привидения. С каждой встречей привидения становятся все неистовей, и вот уже несколько были замечены в расшибании детей об стену. Я быстро начинаю собираться, чтобы уехать и спасти гостящую со мной дочку, еще совсем маленькую, по имени *Mira Rabotnaya* — что на ломаном русском значит «Мир рабочих». В номер вошел Аркадий с банкой белого риса от Зины, и к шести часам я уже пришла в себя — пошла тусоваться в валютном гостиничном баре, где обсуждала с Виктором Лапицким некрофилию (в буквальном смысле) у Гоголя и его одержимость страхом погребения заживо. Рассказывают, что через некоторое время после его кончины тело Гоголя эксгумировали, и обнаружилось, что труп весь извертелся в гробу. Зина рассказала передававшуюся из уст в уста байку о недавнем происшествии на Васильевском острове на пересечении Малого проспекта и улицы Шевченко. Будто бы одна девочка играла на трамвайных путях прямо у стрелки. Тут стрелку перевели, а ножка у нее застряла под рельсом так, что и не вытащишь. Мимо проходил какой-то полковник, который бросился ей на помощь; он и так и сяк заходил, но никак не мог освободить застрявшую ножку. Вдруг он увидел, как у нее за спиной за угол заезжает трамвай — он изо всех сил попытался выдрать застрявшую ножку — и тогда, в последнюю минуту он скинул с плеч шинель и укрыл девочке голову, чтобы избавить ее от зрелища того, что станет орудием ее смерти.



Отражение золотого шпилья мерцает на воде в перевернутом виде. Нарастает внутренний взрыв. Понятия не имею, как им это удалось, но одна команда в Старшей профессиональной лиге по бейсболу выменяла Луиса Тьянта на пятьсот плюшевых мишек. Мужчина устался на фотографию в маленьком синем паспорте, потом на меня, потом снова на фотографию. Много лет тому назад Росси-Ланди представлял семиотику как приложение метафоры к социальному полю — то, что метафорой всегда оказывался язык, было простым совпадением — и тем самым разворачивал направление движения, используя экономику как метафору, посредством которой можно посмотреть на язык. Двигаясь по Невскому проспекту, гуляешь по модернизму. Запах плесени, всю дорогу впотьмах по лестнице доносившийся снизу, ни-

сколько не предвещал тех роскошеств, что распахнутся перед нами за дверью в квартиру Дмитрия, где множество антикварных зеркал изрядно придавало комнатушкам объема. Старуха молча выпила за наше здоровье так, как встречаются оккупантов-солдат. Откуда к русским попадало красное дерево, пока его не стали привозить из Вьетнама? Чем отличается женщина, торгующая тапонами за картонным прилавком у Эрмитажа, от мужчины, торгующего солнечными очками и подшивкой номеров «Noncho» на одеяле на Второй авеню? Нельсон Мандела в телевизоре уже старик — спокойно рассказывает о том, как одного коллегу — преподавателя в университете — зарыли в тюрьме по горло в песок и так и оставили на солнцепеке, пока он орать не начал от жажды, в ответ на что конвоиры помочились ему на лицо. Мертвецы в телевизоре валяются в снег на том же мосту, где стою я сейчас, думая о том, закрывали ли в ту зиму на Неве судоходный сезон и если да, то что случилось с трупами, когда в час ночи мосты развели. В комнате с пианино, по настоянию Олега, Саша с неохотой демонстрирует нам свои визуальные стихи — небольшие листы строительного картона с текстовыми коллажами, которые, когда он их декламирует своим театральным баритоном со странной примесью едва не болезненной робости, блестят от твердой веры в себя. Остап уселся на галерке с приятелями и наблюдает за только теперь перезнакомившимися поэтами поколения его отца с этим идеальным цинизмом юности. Когда она танцевала в Кировском, то видела Ленина, а тот видел ее. Небось одни туристы зависают полюбоваться на поезд в стеклянной витрине сбоку платформы. Несмотря на то что в валютном магазине не было ни души, ни та, ни другая продавщица и бровью не повела, пока я наконец не обратился к ним за помощью. Я ушел с похорон и поехал через мост под проливным дождем в сторону Марин-Хедландс, то и дело оставившая спросить дорогу, один раз даже наткнулся на какую-то парочку, проживающую под заброшенным зданием вблизи небольшой лагуны, пока наконец не приехал в конференц-центр, где выяснилось, что в другой наехавшей туда на эти выходные группе были сплошь ученые да эко-художники из Ленинградского союза писателей, собравшиеся тут, в Марин, чтобы решить, как лучше спасать Неву (на вопрос, знаком ли он с Адашевским либо Драгомощенко, геолог покачал головой: «Они — поэзия, мы — проза»). Теперь перечислить дела, которых я не делал. Стою рядом с гигантским шаром номер восемь — и небо и воздух темного, блестящего красного цвета. Мало-помалу мы с Майклом поднаторели в том, чтобы поворачивать ключ, потом дверь немного так на себя и потом уже от себя, когда надо попасть к нам в номер. Так ни разу и не побывал на «Авроре». Алексей поворачивается к водителю. Через месяц его стихи будет читать Илья Кутик «на русском и в переводе». Дорогой Остап, подаренная тобой мне медаль уже перешла в следующие руки от человека, которому я в свою очередь ее подарил, поставленные тобой условия исправно соблюдаются. Роза Телевизор² в самом конце автобуса. Человечек, машущий подле его собственной статуи Пушкина. Представьте себе язык без настоящего времени. Не зная, на что еще спустить свои рубли, заставил обслугу в гостинице ежедневно перестирывать мне всю одежду. Теперь, под ко-

2 Роза Телевизор — творческий псевдоним ленинградского художника, арт-критика и поэта Энвера Байкеева (1958—2011) и его сестры Зои, выступавших тандемом в 1988—1995 годах. Образован как оммаж дюшановскому альтер эго Рроз Селяви. — *Примеч. ред.*

нец жизни, ей предстоит пережить и конец самой Революции. За молоком — в эту лавку, за хлебом — в ту, а в киоске давали малюсенькие летние яблочки. Где время потекло вспять, случиться может что угодно. Любители солнечных ванн, прислоняющиеся к крепостной стене. Где стихотворение Энвера? Ну всё, Тототшка, здесь тебе уже не Ленинград.



Представьте себе язык, где одно только прошедшее время. Всего шесть месяцев прошло, с тех пор как мы вернулись из Ленинграда. На обратном пути с поминоком я обнаружил, что один-одинешенек еду по калифорнийскому шоссе в начале февраля, — тучи только-только приподраसेялись после утреннего дождя, но вскоре соберутся заново. Я думаю об облаках

Тарковского в «Солярисе» — непосредственное отсутствие там, где невозможно удостовериться в одновременном присутствии производимого сознанием вымысла. «Это всего лишь облака». Облака в довженковском «Аэрограде», этот огромный контрапункт к щуплым бипланам, лавирующим себе в силу своей исторической миссии в сторону молодого советского Дальнего Востока, — превращаются в неуловимо улетающий фон, где растворяются всякие передовые вторжения материального. С самого Ленинграда не испытывал такого свойства одиночества. Я проводил там время за составлением системы нотации для поэтики утраты. Что стало с будущим временем? Не растворяется ли оно во фрагментах из-за улетающих вторжений информации с Запада. Не выписали ли нас на замену довженковским бипланам? Даже моя мать поучаствовала в этом обмене, устроив с одним бизнесменом из Уолнат-Крика, русским эмигрантом, выставку советских художников — в картинах сквозила определенная наивность, которую хоть считать мать не умела, но инстинктивно понимала, что ей такое по душе. Странно было наблюдать их субъективные утопии, развешенные в идентичных рамках по мезонину офисного здания в центре Окленда (не менее, впрочем, странно наблюдать наши собственные субъективные утопии, развешенные в идентичных рамках по этой прозе). Я видел сам себя на фоне одного себя же — и так проявлялось отсутствие *тебя*. После чего я записал — еще сколько-то разрозненных фраз, чтобы записной книжке не пустовать. Иванов встречался с Тарковским и беседовал с ним о проблеме перевода сна на кинолентку: «В кино сны должны быть столь же отчетливы, как и то, что снами в кино не является». Все потому, что «режиссер поступает с предметами так, как с жизнью поступает смерть, — так, как смерть ее осмысляет». Во сне мы с Карлой и Асой и многими другими живем в коммуналке под названием «The Poetry Project». С точки зрения следующего докладчика, Абрама Юсфина, «форма произведения искусства своего рода голограмма, и все таковые голограммы складываются в математическое пространство. Этим объясняется то, что самые разные художники самых разных эпох могут встретиться в своем творчестве, хотя бы они и никогда не встречались лично». (Джордж Лакофф в телефонной трубке немедленно это дело прерывает.) «Необходимо найти эти голограммы. Мы имеем дело с *сообществом*, а не с отдельно взятым человеком или произведением искусства». После чего встает Юлия Латынина: «Сталинская эпоха была не способна допустить существование абстрактного человека. Необходимо осознать механизмы, которые создают людей». Из ее фольклорных примеров: «По реке плывет гандон, / Милый строит Волгодон». Когда какой-то мужчина перебил Аню, возмущив-

шись тем, что она для меня переводит в полный голос, она ответила ему (с вполне объективной суровостью): «Ya rabotaуи». Согласно Вадиму Баронову: «Всякий текст имеет свойство двойной объектности. Он является не только объектом универсального пространства, но и объектом нашей речи. Эту двойную объектность можно преодолеть и соединить в одно целое в речи». (Снова эти помехи из-за работ за окном.) (Когда машина играет в шахматы у себя во сне, она всегда побеждает.)

Пер. с англ. Ивана Соколова